

ВИКТОР БАЯНОВ
А СЕРДЦЕ ВЕСЁЛОЕ МИРУ ОН НЁС...

// Воспоминание о поэте Василии Фёдорове / Составление Т.И. Махаловой.
Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1987. С. 156-173.

В этих кратких и, возможно, сумбурных воспоминаниях о Василии Дмитриевиче Фёдорове я попытаюсь рассказать только о том, что мне особенно хорошо запомнилось и чётко до сих пор. Задолго до личного знакомства с Василием Дмитриевичем я уже хорошо знал его поэзию, не раз в кругу друзей, молодых поэтов, наизусть читал — а тогда мы часто это делали — его стихотворения, а главным образом полюбившиеся места из «Белой роши», «Золотой жилы», «Проданной Венеры», главы из «Седьмого неба», печатавшиеся около того времени (конец пятидесятых), если мне не изменяет память, в журнале «Октябрь». Как-то так получилось, что увлекаясь его поэзией, мы почти ничего не знали о нём самом. Да шибко-то и не дознавались — он был, радовал нас, остальное не интересовало. По многим страницам его произведений выходило, что он «поступью и родом» безусловно наш, сибиряк, но откуда-то, считали мы, из Новосибирска или Иркутска. Часто встречалось название его родной деревни — Марьевка, но ведь Марьевок, как и Ивановок, по Сибири сыщется не один десяток. И лишь позднее случайно вычитали, что родился-то он именно в нашей Марьевке в Яйском районе. Это открытие ничего, конечно, не изменило, никто не ринулся к нему по праву землячества за поддержкой и рекомендациями, как это иногда бывает. Сам же Василий Дмитриевич в Кемерове тогда не появлялся, а если, может, иногда и бывал, то сразу, по-видимому, из аэропорта уезжал в свою Марьевку.

Впервые я увидел его близко на кемеровском совещании молодых писателей летом 1966 года. В наш город приехали многие известные всей стране писатели, поэты, работники центральных газет, журналов, издательств. Бурно протекали заседания, поездки, выступления. Все эти калейдоскопичные, взбудораженные до головокружения, необычайно насыщенные дни промелькнули быстро, оставя на всю жизнь ощущение редкостного праздника. Сколько встреч, знакомств! Нас с Евгением Буравлёвым буквально заставил читать стихи у себя в гостиничном номере насупленный, будто сердитый Ярослав Смеляков, деревеня от робости, выступал я вместе с Леонидом Решетниковым, Виктором Астафьевым и Сергеем Никитиным, услышал добрые слова от Леонида Сергеевича Соболева. А вот с Василием Дмитриевичем так и не довелось тогда познакомиться, только изредка подходил к нему в окружении ребят. Приметный собою — седоволосый, с гордой посадкой головы, он напоминал большую какую-то птицу.

Второй раз я встретился с ним через два года, будучи слушателем Высших литературных курсов, на одном из занятий поэтической секции, куда его пригласил однажды не то заведующий кафедрой творчества поэт Валентин Португалов, не то Александр Петрович Межиров, который тогда эту секцию у нас возглавлял. Василий Дмитриевич по зимнему времени пришёл в длинной дублёной шубе и беседовал с нами около часа тоже по-зимнему — холодновато

и отчуждённо. Разговор шёл туго, неровно, с заминками, будто пообещал он кому-то сгоряча выступить у нас и теперь с большой неохотой это своё обещание выполнял. Я сидел в первом ряду, видел его недовольное, капризно-кислое лицо, испорченное кем-то ранее настроение, поэтому у меня и мысли не возникло подойти к нему после беседы и представиться. Он же, будто категорически пресекая такую возможность, сразу оделся и быстро ушёл — ещё по-молодому стройный, лёгкий.

Как-то Евгений Буравлёв, возглавлявший тогда Кемеровскую писательскую организацию и часто в связи с этим появлявшийся в Москве, пришёл попроведать меня в общежитии на ул. Руставели, где и сам он жил когда-то, будучи студентом Литературного института. Такие дни были для меня истинно праздничными, собирали в моей комнате многих моих дорогих сокурсников. Приходил живший за стенкой барнаулец Иван Кудинов, тучный добродушный туляк Николай Любин, дальневосточники Станислав Балабин да Михаил Асламов, брянец Виктор Белоусов, заглядывал очень непоседливый в ту пору Юван Шесталов, подолгу сживал с нами, неизвестно как перемогая безбожную накуренность, часто хворавший, скромный, милейший человек новосибирец Аскольд Якубовский. Все они любили моих друзей, Евгения Буравлёва и нередко гостившего у меня Анатолия Соболева, дорожили их вниманием и впоследствии хорошо дружили с ними уже, так сказать, отдельно от меня. Так вот, в один из приездов Евгений Буравлёв стал уговаривать меня смотаться вместе в Центральный дом литераторов. Был хоть и не поздний, но уже вечер, порядком были мы отягощены разговорами и накопившейся за день усталостью, подниматься и ехать никуда не хотелось.

— Понимаешь, — как бы оправдываясь, сказал Буравлёв, — мне Василия Фёдорова край повидать надо. Мы условились там встретиться.

Тут я, конечно, согласился сразу и через минуту готов был сам поторапливать медлительного Буравлёва. Наконец-то забрезжила удача побыть рядом и познакомиться с любимым поэтом. Однако как сильно было желание, так велико и разочарование.

В ЦДЛ, как всегда, былолюдно, интересно. Я бывал там редко, потому и в этот раз с провинциальным любопытством рассматривал, узнавая, известных писателей, обстановку, исписанные стихами стены. Да так увлёкся, что не заметил — откуда и когда появился Василий Дмитриевич. Гляжу, он сидит напротив, немного сбоку, в тёмном пиджаке, с которым ярко контрастируют белые его волосы, внимательно смотрит на Буравлёва небольшими своими чуть оплывшими глазами. На меня — никакого внимания, словно кроме него и Буравлёва за столиком никого не было. Помалкивая, я в упор его разглядывал.

Буравлёв вынул блокнот, повёл разговор о каких-то пиломатериалах, брусках, оконных рамах, что-то советовал — он знал толк в строительных делах. Василий Дмитриевич вникал, поддакивал, соглашался, уточнял. Нетрудно было понять, что речь идёт не то о затеваемом, не то уже строящемся доме в Марьевке, куда он мог бы летом приезжать на отдых, а если будет работаться — и работать. Евгений Буравлёв, видимо, сильно ему помогал.

Прошло какое-то время, деловой разговор начал помаленьку пригасать, уже заговорили раздёрганно и обо всём, а на меня, сидящего молчаливо-нелепо рядом с Буравлёвым, Василий Дмитриевич впрямую и открыто так и не взглянул ни разу. Всё как бы невзначай, не задерживаясь взглядом, скорой такой пробежкой. Оно и справедливо: не обязательно было обращать на меня внимание — мало ли кого мог привести с собою общительный и щедрый Буравлёв. Наконец Женя смекнул, что мы с Василием Дмитриевичем вообще пока не знаем друг друга.

— Так вы что же, не знакомы? Витя Баянов — наш молодой, подающий и т. п.

Я думал, что Василий Дмитриевич спросит: кто я, зачем в Москве, что написал. Но он «без руки и слова», только чуть продолжительнее прежнего на меня посмотрел, единственно, как мне подумалось, чтоб не обидеть Буравлёва. Немного это задело за живое, но тут же я и успокоился, приняв нарочито независимый вид. Получилось почти как в стихотворении А. Т. Твардовского о кузнеце, к которому приехал повидаться сын полковник. У того тоже всколыхнулся было «кураж характера», как говорит один мой знакомый. Тот самый кураж, что в любой подобной ситуации при здоровом чувстве собственного достоинства, рядом с гордостью за человека, почтительностью и даже любовью не оставляет места лести, уничижительному угодничеству, подобострастию.

Полковник! А скажем и так: ну полковник.

Ну даже полковник! А я вот кузнец.

Правду говоря, эта новая, какая-то нескладная встреча с поэтом если и вспоминалась потом, то изредка и — к разговору. Не гадалось, доведётся ли в будущем сойтись поближе, но я знал, что сам к нему вряд ли насмелюсь подойти.

Василий Дмитриевич за всякими заботами тоже начисто забыл нашу встречу и невнимательно-мимолётное знакомство в ЦДЛ. Потом мне часто приходилось видеть его в разных местах — в Союза писателей, в издательстве «Современник», в том же ЦДЛ, но ни разу я не заметил взгляда, кивка или ещё какого-то знака, указывающего на то, что он помнит меня и приветствует, как это принято у русских, пусть мало знакомых, людей. О его забывчивости можно судить по тому, как он однажды в Марьевке обратился ко мне:

— Виктор, мне всё кажется, что я где-то раньше видел тебя... Нет, ошибаюсь. Просто ты похож на Солоухина.

Но это немного позднее, а тогда из наслоённых случайных штрихов сложился у меня — теперь-то понимаю, что поспешный и ошибочный — образ человека неприветливого и даже высокомерного. Я решил сгоряча отделять для себя самого поэта от сделанного им, по молодой запальчивости не допуская и капли расхождения между реальным, живым человеком и тем, каким я

представлял его, читая созданные им стихотворения и поэмы. Я верил, что более глубокое узнавание поэта может отрицательно сказаться на восприятии его поэзии. Через годы я попытался, возможно, неудачно, расплывчато, провести эту мысль и настроение в стихотворении «Изба на горе», посвящённом Василию Дмитриевичу. Наверно, он так и остался бы для меня человеком трудноприемлемым, если бы на этой отметке затормозилось и не продвинулось дальше наше знакомство.

Я никогда не помышлял сделаться профессиональным писателем и, окончив Высшие литературные курсы, вернулся в Кемерово на прежнюю свою работу, которую освоил ещё в юности и любил всегда — снова сел за управление локомотивом. Как-то Евгений Буравлёв сказал мне:

— Старик, Василий Фёдоров в Марьевку приглашает. Большой группой. Машиниста, говорит, обязательно привези.

Что-то притягательное, волнующее мерещилось в этой поездке. Связанный по рукам работой, жёстким производственным распорядком, я мало общался с друзьями, почти никуда не отлучался из города, а тут такая вдруг воля и такая снарядилась дружина! Кроме того, я очень люблю дорогу и новые места. Хотелось увидеть родину Василия Дмитриевича, его самого, немного отвлечься и отдохнуть от колесного стука и скрежета. Словом, я согласился с радостью.

...Дом Василия Дмитриевича, крытый по-амбарному — на два ската, золотясь новыми брёвнами, стоит на ветровом привольном месте и виден чуть ли не от самой Яи. Долго едешь, а он всё один маячит вдалеке на горке, и большим, высоким делает его такое местоположение. Вблизи же не так он и велик, с тесовыми сенями и простым, без всяких украшений, крыльцом. Перед крыльцом довольно обширная ограда, как у нас в Сибири принято называть не только собственно изгородь, но и самое территорию, двор. Кое-где в сорном разнотравье, до которого у занятого домом хозяина не дошли пока руки, чернеют лунки с робкими саженцами сибирского кедра, ещё не помню каких деревьев — это хозяин показывает с удовольствием и в первую очередь. За домом, с рассветной стороны, крутой спуск к цветной воде старицы Яи, затянутой у берегов плотную ряской. А дальше такой чистый и высокий простор, что дух захватывает.

Василий Дмитриевич обустроивает дом, помогает обшивать шелёвкой стены изнутри, выказывая в работе с ножовкой и молотком немалую сноровку. Он доволен, весел. Говорит, что чувствует себя здесь как бы накоротко подключенным к жизни и заботам земли, родной стороны. Потом забавно, с большой симпатией рассказал о нанятом мастере-печнике, который, получив аванс за предстоящую работу, вдруг куда-то исчез и около месяца не показывался на глаза. Затем виновато явился, добрал остальное и наоборот — никуда не сходя со двора, несколько дней изводил Василия Дмитриевича разговорами, из коих он понял только, что ничего в жизни нет важнее печного дела. К работе же всё никак не мог подступить.

Василий Дмитриевич было засомневался: уж печник ли он, не вымогатель, не шарлатан ли какой? Однако совесть, видно, проснулась в мужичке или дождался, наконец, душевного настроения, но за короткий срок он отгрохал такую печь, что Василий Дмитриевич восхищался ею, как достопримечательность всем её показывал, объяснял «хода», действительно редкое и хитрое печное устройство. Комбайн, а не печь!

Тогда же заехали к Василию Дмитриевичу районные руководители и специалисты — попроведать и узнать, что ещё нужно для окончательной отделки дома, чем можно помочь. Евгений Буравлёв привязался к одному из них, верно — строителю, требуя непременно соорудить лестницу по чертоломному склону к зелёной воде старицы. И так этой лестницей затюкал славного, тихого человека, что тот несколько раз, при случайном приближении Буравлёва вздрагивал и, отходя, серьёзно заверял:

— Евгений Сергеевич, будет лестница, честное слово. Сказал — будет!

Замечательно прошёл в этот день поэтический праздник в райцентре. Василий Дмитриевич слушал нас очень внимательно, просил читать побольше — знакомился. В конце с большим успехом выступил сам. Вечерним поездом мы уехали в Кемерово.

Гораздо лучше запомнилась мне поездка в Марьевку летом 1972 года. Кемеровское телевидение решило сделать обо мне передачу, где, по замыслу, должен был и Василий Дмитриевич сказать о моих стихах какие-то слова. Поехали на студийном автобусе.

Видно, телевизионники заранее каким-то образом условились с Василием Дмитриевичем, так как он совсем не удивился нашему приезду и по всему — словно бы ждал нас. С утра он уже несколько часов провёл за машинкой, притомился, и наше появление пришлось даже кстати.

В его комнате на столе, рядом с портативной пишущей машинкой лежали листы бумаги, исписанные стихами от руки. По внешнему своеобразному рисунку строфы теперь я догадываюсь, что работал он тогда над поэмой «Женитьба Дон-Жуана».

Ребята ушли искать электролинию для подключения телевизионной аппаратуры, а мы — Нелли Николаевна Соколова, сценарист и редактор передачи, и я — долго беседовали с Василием Дмитриевичем в его комнате. Затем Нелли Николаевна уединилась с Ларисой Фёдоровной, а мы с Василием Дмитриевичем вышли во двор, благо погода была прекрасна. Под мягким предосенним солнцем, в кудлатых перелесках, полях, лугах — во всём был покой и вялая истомлённость щедрым теплом, буйным наливом, наступающей спелостью. Запомнилось высоченное небо и уходящая не знамо куда облегчающая душу даль. Когда-то я трудно сживался с городом, где глаза, привыкшие вот к такому пространству, то и дело натывались на дома, башни и трубы. Взгляд как бы спотыкался о них, ломался, и дальше этих труб и башен ходу ему не было. От того, думалось мне, люди в городе должны быть

замкнутее, суше, всё доброе и худое некуда им выдохнуть, держат в себе. В деревне же, если и случалась какая душевная сумятица, то она недолго давила сердце — свободно уходила из него в полевые просторы...

Василий Дмитриевич повел рукой:

— Ну как?

Я сказал, что хорошо, слов нет; ещё чуть-чуть, и было бы — как у нас в Тонкинском районе. Он засмеялся:

— Ишь ты! Каждый кулик свое болото хвалит. Так и должно быть. Но красивее наших мест трудно найти. Такой вид только в Михайловском, когда смотришь на Сороть. Очень даже похоже.

Когда я сказал, что удачно выбрано место для дома, Василий Дмитриевич тут же перефразировал Пушкина:

— Да, здесь все ветры в гости будут к нам.

Далее он говорит, какие тут в конце лета и осенью бывают туманы. Я оглядываю окрестность с высокого яра, и совсем нетрудно мне представить, как вон там, где пасётся стадо, с раннего вечера едва заметной сперва белесью заведётся туман, потом станет копиться, растечётся по низине, огороды заполонит, а к дому Василия Дмитриевича только перед утром подступится, когда наслонится, загустеет, и места ему в низине не станет хватать. Василий Дмитриевич показывает на небольшую согорку внизу.

— Сейчас за свежей водой в родник сходим.

Мы спускаемся по тропинке к роднику, который едва высачивается из зарослей. У Василия Дмитриевича там сделана на выходе ямка, где вода накапливается и отстаивается. Он начерпывает из ямки ковшиком в ведро. Мы присаживаемся возле руслица в тенёчке. Бросается в глаза обилие рябинника — всё красно от него. Тихо, глухо. Долину Яи забила плотная маревая наплывь, даже далёкий горизонт делается от неё смурным и темноватым. На память сами приходят строки А. Прокофьева:

Не боюсь, что даль затмилась,
Что река пошла мелеть.

Василий Дмитриевич встрепенулся и попросил, чтоб я, если помню, прочёл всё стихотворение. Читаю, а у него лицо счастливое и какое-то настороженно-ждущее, будто боится, что я могу забыть, споткнуться, и тотчас он подскажет. Оказалось, что это у него чуть ли не самое любимое прокофьевское стихотворение. Так поговорили немало о стихах. Василий

Дмитриевич, готовясь к передаче, прочёл и мои и сейчас сказал — обобщённо, не выделяя какие-то конкретные стихотворения, строфы или строки:

— Ну что ж, слово тебя слушается. Но надо думать, куда идти дальше. Нет охоты заняться большой вещью? Совершенно иная структура стиха...

Вдруг он без всякого перехода, ни с того ни с сего поинтересовался, не приезжал ли ко мне из деревни в Москву отец, когда я там учился. Зачем-то ему было нужно, что-то, видимо, хотел выяснить, уточнить для себя, но отец ко мне в Москву не приезжал...

Когда мы поднялись на горку с водою и входили уже в ограду, Василий Дмитриевич сказал, что у него есть желание купить мотоцикл с коляской, но он не знает, куда его ставить на сохранение. Загромождать ограду лишними строениями — гаражом, сараем — не хочется. Мне подумалось, что он ожидает совета, и я, показывая на высокие на столбах сени, с налету бухнул, что-де можно углубиться под сени, вырыть нечто похожее на артиллерийскую или танковую аппарель с пологим скатом и мотоцикл туда закатывать. Василий Дмитриевич, видно, отвергнув до этого немало всяких прожектов, подобного ещё не слышал, даже с шага сбился, но тут же весело и, как мне показалось, одобрительно на меня посмотрел, усмехнулся — что, мол, с тебя взять — и, не останавливаясь у крыльца, пригласил в дом. В сенях уже, наверно, боясь меня обидеть, сказал, что моё предложение неприемлемо — будет в эту самую аппарель заливать дождевая вода.

Вскоре вернулись из деревни ребята и огорчённо сообщили, что здесь, в Марьевке, нет электролинии нужного напряжения. Так и не состоялась тогда съёмка.

Несколько лет кряду я с Василием Дмитриевичем не встречался. В каждый свой приезд из Москвы он приглашал меня через друзей наших общих, хотел видеть, а я всё не являлся — никак не отпускала работа на производстве. Почти мимоходом встретились на съезде писателей. Где-то заметил, подошёл. Не выпуская моей руки и, словно апеллируя к кому-то в пёстром многолюдье, с растяжкой как-то сказал обо мне в третьем лице:

— Виктор что-то меня избегает...

В тихом его голосе за шутливым вроде выговором слышится серьёзный упрёк, укор, и мне делается стыдно хоть провались. Вообще он стал мягче, проще, внимательнее, и отходить от него не хочется.

Летом восьмидесятого состоялся большой, празднично-яркий поэтический вечер Василия Дмитриевича в Кемеровской филармонии. Шахтеры, химики, студенты горячо его встретили и долго не отпускали со сцены. Он и сам был в ударе, оживлён, доволен. Приветствуя Василия Дмитриевича, прочёл там и я своё стихотворение «Изба на горе», ему посвящённое:

Это было, было, было
Так давно, чуть помню сам —
В год, когда ещё рябина
Густо рдела по лесам.
В сограх, в травах, буйно росших,
Пели звонкие ключи.
Без помехи в белых рощах
Жировали косачи.
И у каждой у излуки
Рябь речную, как хлыстом,
От избытка жизни щуки
Били радужным хвостом.
Так, от рощи и до лога,
От опушки до села
Шла и шла моя дорога
И к деревне привела.
Деревенька небольшая,
Да со всех сторон видна.
Небольшая речка Яя,
Да какая глубина!
Зачерпнул водицы горстью,
Смыл испарину со лба.
Показалось: кличет в гости
На крутом яру изба.
Что там ждёт, добро иль худо?
Повернуть или зайти?
Верю я: любое чудо
Может здесь произойти.
Вдруг на взгорке, как когда-то,
В давнем платье, налегке,
Граева возникнет Нота,
Царственно пойдёт к реке.
Иль окликнет из распадка.
Где малиновы кусты,
Глаша, статная солдатка,
Небывалой красоты.
Только вижу: сед, измаян,
На крылечко без резьбы
Шумно вышел сам хозяин
Этой сказочной избы.
Подойти б, сказаться просто,
Рядом сесть к плечу плечом.
Что ж скажу я, вот вопрос-то,
И поведаю — о чём?
О дороге, людях, лете

Разверну картину, гость?
Так ведь знает всё на свете,
Так ведь видит всё насквозь...

И ушёл я от ограды,
От избы,
 неся, как весть,
В сердце тихую отраду —
Что она под солнцем есть.
Будет путь большой иль краткий,
Тяжкой, лёгкой ли ходьба,
Оглянись с тропы негладкой —
Пусть останется загадкой
Эта русская изба.

Позднее, в гостинице, куда я с товарищами помог ему нести цветы и подарки от земляков, он пригласил побывать, поужинать вместе. Поблагодарил:

— Спасибо за стихи и — что пришёл.

Слов нет, непривычно-радостно было мне, когда он, сидя на одном ряду через несколько человек от меня и что-нибудь рассказывая, время от времени склонялся к столу и, поворачиваясь, отыскивал меня взглядом...

Затем я снова долго не видел Василия Дмитриевича. На исходе зимы восемьдесят третьего года в Москву, в ЦДРИ, поехала большая группа работников культуры Кемеровской области. В одном из залов Центрального дома работников искусств была развернута небольшая выставка живописных и графических работ кузбасских художников. Выделялся яркостью исполнения портрет Василия Дмитриевича, написанный Германом Захаровым. Лицо поэта — одухотворённое, светлое. Взгляд острый и внимательный, устремлён в пространство, вроде всматривается в загаданную для себя трудную, но и отрадную дорогу, которую предстоит ещё одолеть.

Знакомясь с ЦДРИ, я рассеянно бродил по комнатам и коридорам, стараясь отрешиться от суеты, унять преждевременное волнение — мне предстояло читать со сцены стихи. Вдруг вижу — по лестнице на второй этаж поднимается Василий Дмитриевич с Ларисой Фёдоровной. Вот уж радость! Оказывается, узнал откуда-то о нашем приезде, пришёл повидать земляков, и на свой портрет взглянуть, наверное, интересно было. Я знал, что он тяжело болел, перенёс сложнейшую операцию. Всё это, конечно, убавило здоровья, крепко его подкосило, но не был он удручённым или подавленным. Правда, сразу сказал, что неважно себя чувствует и до конца праздника не останется.

Портрет Василию Дмитриевичу понравился. Обходя зал, он нет-нет да взглядывал на него с разных сторон. Успокоенно отошёл, когда о портрете одобрительно отозвался известный художник Яр-Кравченко. Около получаса

были мы с Василием Дмитриевичем неразлучны. Даже когда меня на несколько минут отвлекло ЦТ, он далеко не отошёл, постоял в сторонке, подождал. Потом мы сходили вниз — ему что-то понадобилось взять в гардеробе,— нашли там в каком-то закутке свободный диван и посидели, ему не хотелось колготы и сумятицы. Он вдруг сказал, что хотел бы побывать в Марьевке зимой и смогу ли я туда приехать. Знал, что с другими нашими ребятами договориться проще, а меня строго держит работа, производство. Тихо и доверительно мы беседовали, но раздался звонок, и надо было нам расходиться — Василий Дмитриевич направился в зал, а я — на сцену, где и хозяйева-москвичи, и гости-кузбассовцы занимали уже места.

На прощание он протянул руку и ещё раз сказал, что до конца не останется, немного побудет и уйдёт.

Сидя на сцене у самого задника, я тянулся и привставал, ряд за рядом перебрал весь зал и отыскал Василия Дмитриевича — он сидел совсем недалеко от сцены, на шестом или седьмом ряду. С четверть часа я нет-нет да поглядывал туда: сидит ли, не ушёл ли домой. Потом, во время краткого перерыва, я увидел, как он поднялся и легко, как всегда он ходил, пошёл по проходу. Затем повернул налево и, двигаясь к двери, посмотрел на сцену. Я приподнялся и помахал ему рукой. Не знаю, меня ли он заметил или кого-то ещё, но уже у самой двери он тоже поднял над головой руку, как мы обычно делаем — и приветствуя, и прощаясь.

Больше я Василия Дмитриевича не видел.

12 августа 1985 г.